

[Polaris]

М. Лермонтов
"Князь Индостанский"



ПРИЗРАКИ

Повесть с продолжением

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCIV



Salamandra P.V.V.

М. ЛЕРМОНТОВ
«КНЯЗЬ ИНДОСТАНСКИЙ»

ПРИЗРАКИ

Повесть с продолжением

Salamandra P.V.V.

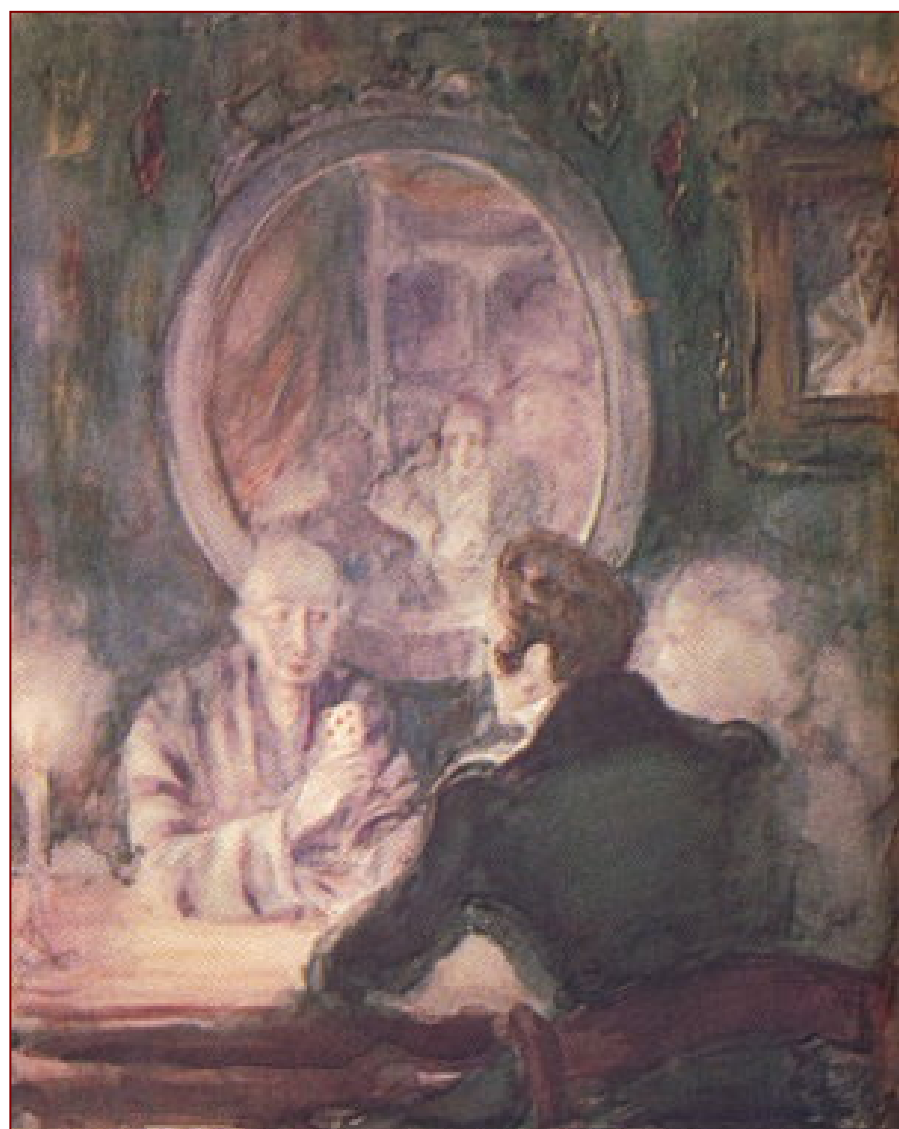
Лермонтов М. Ю., «Князь Индостанский».

Призраки: Повесть с продолжением. Послесл. А. Шермана. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2016. — 60 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCIV).

В книгу вошла незавершенная фантастическая повесть М. Ю. Лермонтова «Штосс» и ее окончание, опубликованное в 1897 г. безвестным писателем, который скрылся под псевдонимом «Князь Индостанский». Как узнает из послесловия читатель, в истории этого текста, озаглавленного автором «Призраки», до сих пор немало загадок...

© A. Sherman, послесловие, 2017

© Salamandra P.V.V., подг. текста, оформление, 2017



М. Лермонтов

ШТОСС

У граф. В.... был музыкальный вечер. Первые артисты столицы платили своим искусством за честь аристократического приема; в числе гостей мелькало несколько литераторов и ученых; две или три модные красавицы; несколько барышень и старушек и один гвардейский офицер. Около десятка доморощенных львов красовалось в дверях второй гостиной и у камина; все шло своим чередом; было ни скучно, ни весело.

— В ту самую минуту как новоприезжая певица подходила к роялю и развертывала ноты..... одна молодая женщина зевнула, встала и вышла в соседнюю комнату, на это время опустевшую. На ней было черное платье, кажется по случаю придворного траура. На плече, пришитый к голубому банту, сверкал бриллиантовый вензель; она была среднего роста, стройна, медленна и ленива в своих движениях; черные, длинные, чудесные волосы оттеняли ее еще молодое правильное, но бледное лицо, и на этом лице сияла печать мысли. —

— Здравствуйте, мсье Лугин, — сказала Минская кому-то; я устала..... скажите что-нибудь! — и она опустилась в широкое пате возле камина: тот, к кому она обращалась, сел против нее и ничего не отвечал. В комнате их было только двое, и холодное молчание Лугина показывало ясно, что он не принадлежал к числу ее обожателей.

— Скучно, — сказала Минская и снова зевнула; — вы видите, я с вами не церемонюсь! — прибавила она.

— И у меня сплин! — ... отвечал Лугин.

— Вам опять хочется в Италию? — сказала она после некоторого молчания. — Не правда ли?

Лугин в свою очередь не слышал вопроса; он продолжал, положив ногу на ногу и уставя глаза безотчетливо на беломраморные плечи своей собеседницы: — Вообразите, какое со мной несчастье: что может быть хуже для человека, который, как я, посвятил себя живописи! — вот уж две недели, как все люди мне кажутся желтыми, — и одни только

люди! добро бы все предметы; тогда была бы гармония в общем колорите; я бы думал, что гуляю в галерее испанской школы. — Так нет! все остальное как и прежде; одни лица изменились; мне иногда кажется, что у людей вместо голов лимоны.

Минская улыбнулась. — Призовите доктора, — сказала она.

— Доктора не помогут — это сплин!

— Влюбитесь! — (Во взгляде, который сопровождал это слово, выражалось что-то похожее на следующее: «мне бы хотелось его немножко помучить!»)

— В кого?

— Хоть в меня!

— Нет! вам даже кокетничать со мною было бы скучно — и потом, скажу вам откровенно, ни одна женщина не может меня любить.

— А эта, как бишь ее, итальянская графиня, которая последовала за вами из Неаполя в Милан?...

— Вот видите, — отвечал задумчиво Лугин, — я сужу других по себе и в этом отношении, уверен, не ошибаюсь. Мне точно случалось возбуждать в иных женщинах все признаки страсти — но так как я очень знаю, что в этом обязан только искусству и привычке кстати трогать некоторые струны человеческого сердца, то и не радуюсь своему счастью; — я себя спрашивал, могу ли я влюбиться в дурную? — вышло нет; — я дурен — и следственно женщина меня любить не может, это ясно; артистическое чувство развито в женщинах сильнее, чем в нас, они чаще и долее нас покорны первому впечатлению; если я умел подогреть в некоторых то, что называют капризом, то это стоило мне неимоверных трудов и жертв — но так как я знал поддельность чувства, внушенного мною, и благодарил за него только себя, то и сам не мог забыться до полной, безотчетной любви; к моей страсти примешивалось всегда немного злости; — все это грустно — а правда!.....

— Какой вздор! — сказала Минская, — но, окинув его быстрым взглядом, она невольно с ним согласилась.

Наружность Лугина была в самой деле ничуть не привлекательна. Несмотря на то, что в странном выражении глаз его было много огня и остроумия, вы бы во всем его существе не встретили ни одного из тех условий, которые делают человека приятным в обществе; он был неловко и грубо сложен; говорил резко и отрывисто; большие и редкие волосы на висках, неровный цвет лица, признаки постоянного и тайного недуга, делали его на вид старее, чем он был в самом деле; он три года лечился в Италии от ипохондрии, — и хотя не вылечился, но по крайней мере нашел средство развлекаться с пользой; он пристрастился к живописи; природный талант, сжатый обязанностями службы, развился в нем широко и свободно под животворным небом юга, при чудных памятниках древних учителей. Он вернулся истинным художником, хотя одни только друзья имели право наслаждаться его прекрасным талантом. — В его картинах дышало всегда какое-то неясное, но тяжелое чувство: на них была печать той горькой поэзии, которую наш бедный век выжимал иногда из сердца ее первых проповедников.

Лугин уже два месяца как вернулся в Петербург. Он имел независимое состояние, мало родных и несколько старинных знакомств в высшем кругу столицы, где и хотел провести зиму. — Он бывал часто у Минской: ее красота, редкий ум, оригинальный взгляд на вещи должны были произвести впечатление на человека с умом и воображением. Но о любви между ними не было и в помине.

Разговор их на время прекратился, и они оба, казалось, заслушались музыки. Заезжая певица пела балладу Шуберта на слова Гете: Лесной царь. Когда она кончила, Лугин встал.

— Куда вы? — спросила Минская.

— Прощайте.

— Еще рано.

Он опять сел.

— Знаете ли, — сказал он с какою-то важностью, — что я начинаю сходить с ума?

— Право?

— Кроме шуток. — Вам это можно сказать, вы надо мною не будете смеяться. Вот уже несколько дней, как я слышу голос. Кто-то мне твердит на ухо с утра до вечера — и как вы думаете что? — адрес: — вот и теперь слышу: в Столярном переулке, у Кокушкина моста, дом титулярного советника Штосса, квартира номер 27. — И так шибко, шибко, — точно торопится..... Несносно!..

Он побледнел. Но Минская этого не заметила.

— Вы, однако, не видите того, кто говорит? — спросила она рассеянно.

— Нет. Но голос звонкий, резкий дишкант.

— Когда же это началось?

— Признаться ли? я не могу сказать наверное... не знаю... ведь это право презабавно! — сказал он, принужденно улыбаясь.

— У вас кровь приливает к голове, и в ушах звенит.

— Нет, нет. — Научите, как мне избавиться?

— Самое лучшее средство, — сказала Минская, подумав с минуту, — идти к Кокушкину мосту, отыскать этот номер, и так как, верно, в нем живет какой-нибудь сапожник или часовой мастер, — то для приличия закажите ему работу, и, возвратясь домой, ложитесь спать, потому что..... вы в самом деле нездоровы!.. — прибавила она, взглянув на его встревоженное лицо с участием.

— Вы правы, — отвечал угрюмо Лугин, — я непременно пойду. —

Он встал, взял шляпу и вышел.

Она посмотрела ему вслед с удивлением.

2

Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом. Мокрый снег падал хлопьями, дома казались грязны и темны, лица прохожих были зелены; извозчики на биржах дремали под рыжими полостями своих саней; мокрая длинная шерсть их бедных кляч завивалась барашком; туман прида-

вал отдаленным предметам какой-то серолиловый цвет. По тротуарам лишь изредка хлопали калоши чиновника, — да иногда раздавался шум и хохот в подземной полпивной лавочке, когда оттуда выталкивали пьяного молодца в зеленой фризовой шинели и клеенчатой фуражке. Разумеется, эти картины встретили бы вы только в глухих частях города, как например... у Кокушкина моста. Через этот мост шел человек среднего роста, ни худой ни толстый, не стройный, но с широкими плечами, в пальто, и вообще одетый со вкусом; жалко было видеть его лакированные сапоги, вымоченные снегом и грязью; но он, казалось, об этом ни мало не заботился; засунув руки в карманы, повесив голову, он шел неровными шагами, как будто боялся достигнуть цель своего путешествия, или не имел ее вовсе. — На мосту он остановился, поднял голову и осмотрелся. То был Лугин. Следы душевной усталости виднелись на его измятом лице; в глазах горело тайное беспокойство.

— Где Столярный переулок? — спросил он нерешительным голосом у порожнего извозчика, который в эту минуту проезжал мимо его шагом, закрывшись по шею мохнатой полостью и насвистывая камаринскую.

Извозчик посмотрел на него, хлыснул лошадь кончиком кнута и проехал мимо.

Ему это показалось странно. Уж полно, есть ли Столярный переулок? Он сошел с моста и обратился с тем же вопросом к мальчику, который бежал с полуштофом через улицу.

— Столярный? — сказал мальчик, — а вот идите прямо по Малой Мещанской, и тотчас направо, — первый переулок и будет Столярный.

Лугин успокоился. Дойдя до угла, он повернул направо и увидел небольшой грязный переулок, в котором с каждой стороны было не больше 10 высоких домов. Он постучал в дверь первой мелочной лавочки и, вызвав лавочника, спросил: «где дом Штосса?»

— Штосса? — Не знаю, барин, здесь эдаких нет; а вот здесь рядом есть дом купца Блинникова, — а подальше..

— Да мне надо Штосса...

— Ну не знаю,— Штосса!! — сказал лавочник, почесав затылок, — и потом прибавил: — нет, не слышать-с!

Лугин пошел сам смотреть надписи; что-то ему говорило, что он с первого взгляда узнает дом, хотя никогда его не видал. Так он добрался почти до конца переуллка, и ни одна надпись ничем не поразила его воображения, как вдруг он кинул случайно глаза на противоположную сторону улицы, и увидел над одними воротами жестяную доску вовсе без надписи.

Он подбежал к этим воротам — и сколько ни рассматривал, не заметил ничего похожего даже на следы стертой временем надписи; доска была совершенно новая.

Под воротами дворник в долгополом полинявшем кафтане с седой, давно небритой бородою, без шапки и подпоясанный грязным фартуком, разметал снег.

— Эй! дворник, — закричал Лугин. —

Дворник что-то проворчал сквозь зубы.

— Чей это дом?

— Продан! — отвечал грубо дворник.

— Да чей он был. —

— Чей? — Кифейкина, купца. —

— Не может быть, верно Штосса, — вскрикнул невольно Лугин.

— Нет, был Кифейкина — а теперь так Штосса! — отвечал дворник, не подымая головы.

У Лугина руки опустились.

Сердце его забилося, как будто предчувствуя несчастье. Должен ли он был продолжать свои исследования? не лучше ли во-время остановиться? Кому не случалось находиться в таком положении, тот с трудом поймет его: любопытство, говорят, сгубило род человеческий, оно и поныне наша главная, первая страсть, так что даже все остальные страсти могут им объясниться. Но бывают случаи, когда таинственность предмета дает любопытству необычайную власть: покорные ему, подобно камню, сброшенному с горы сильною рукою, мы не можем остановиться — хотя видим нас ожидающую бездну.

Лугин долго стоял перед воротами. Наконец обратился к дворнику с вопросом.

— Новый хозяин здесь живет?

— Нет.

— А где же?

— А черт его знает.

— Ты уж давно здесь дворником?

— Давно.

— А есть в этом доме жильцы?

— Есть.

— Скажи, пожалуйста,— сказал Лугин после некоторого молчания, сунув дворнику целковый, — кто живет в двадцать седьмом номере?

Дворник поставил метлу к воротам, взял целковый и пристально посмотрел на Лугина.

— В двадцать седьмом номере?.... да кому там жить! он уж бог знает сколько лет пустой.

— Разве его не нанимали?

— Как не нанимать, сударь,— нанимали.

— Как же ты говоришь, что в нем не живут!

— А бог их знает! Так-таки не живут. Наймут на год, да и не переезжают.

— Ну, а кто его последний нанимал?

— Полковник, из анженеров, что ли!

— Отчего же он не жил?

— Да переехал было..... а тут, говорят, его послали в Вятку — так номер пустой за ним и остался.

— А прежде полковника?

— Прежде его было нанял какой-то барон, из немцев, — да этот и не переезжал; слышно, умер.

— А прежде барона?

— Нанимал купец для какой-то своей..... гм! да обанкрутился, так у нас и задаток остался.....

«Странно!» — подумал Лугин.

— А можно посмотреть номер?

Дворник опять пристально взглянул на него.

— Как нельзя? можно! — отвечал он и пошел, переваливаясь, за ключами.

Он скоро возвратился и повел Лугина во второй этаж по широкой, но довольно грязной лестнице. Ключ заскрипел в заржавленном замке, и дверь отворилась; им в лицо пахло сыростью. Они вошли. Квартира состояла из четырех комнат и кухни. Старая пыльная мебель, некогда по золоченная, была правильно расставлена кругом стен, обтянутых обоями, на которых изображены были на зеленом грунте красные попугаи и золотые лиры; изразцовые печи кое-где порастрескались; сосновый пол, выкрашенный под паркет, в иных местах скрипел довольно подозрительно; в простенках висели овальные зеркала с рамками рококо; вообще комнаты имели какую-то странную несовременную наружность.

Они, не зная почему, понравились Лугину.

— Я беру эту квартиру, — сказал он. — Вели вымыть окна и вытереть мебель... посмотри, сколько паутины! да надо хорошенько вытопить...— В эту минуту он заметил на стене последней комнаты поясной портрет, изображающий человека лет сорока в бухарском халате, с правильными чертами, большими серыми глазами; в правой руке он держал золотую табакерку необыкновенной величины. На пальцах красовалось множество разных перстней. Казалось, этот портрет писан несмелой ученической кистью, — платье, волосы, рука, перстни — все было очень плохо сделано; зато в выражении лица, особенно губ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глаз оторвать: в линии рта был какой-то неуловимый изгиб, недоступный искусству и, конечно, начертанный бессознательно, придававший лицу выражение насмешливое, грустное, злое и ласковое попеременно. Не случилось ли вам на замороженном стекле или в зубчатой тени, случайно брошенной на стену каким-нибудь предметом, различать профиль человеческого лица, профиль, иногда невообразимой красоты, иногда непостижимо отвратительный? Попробуйте переложить их на бумагу! вам не удастся; попробуйте на стене обрисовать карандашом силуэт, вас так сильно поразивший, — и очарование исчезает; рука человека никогда с намерением не произведет этих линий; математически малое

отступление — и прежнее выражение погибло невосвратно. В лице портрета дышало именно то неизъяснимое, возможное только гению или случаю.

«Странно, что я заметил этот портрет только в ту минуту, как сказал, что беру квартиру!» — подумал Лугин.

Он сел в кресла, опустил голову на руку и забылся.

Долго дворник стоял против него, помахивая ключами.

— Что ж, барин? — проговорил он наконец.

— А!

— Как же? — коли берете, так пожалуйста задаток.

Они условились в цене, Лугин дал задаток, послал к себе с приказанием сейчас же перевозиться, а сам просидел против портрета до вечера; в 9 часов самые нужные вещи были перевезены из гостиницы, где жил до сей поры Лугин.

«Вздор, чтоб на этой квартире нельзя было жить», думал Лугин. «Моим предшественникам видно не суждено было в нее перебраться — это конечно странно! — Но я взял свои меры; переехал тотчас! — Что ж? — ничего! —»

До двенадцати часов он с своим старым камердинером Никитой расставлял вещи....

Надо прибавить, что он выбрал для своей спальни комнату, где висел портрет.

Перед тем чтоб лечь в постель, он подошел со свечой к портрету, желая еще раз на него взглянуть хорошенько, и прочитал внизу вместо имени живописца красными буквами: *Середа*. —

— Какой нынче день, — спросил он Никиту.

— Понедельник, сударь....

— Послезавтра среда! — сказал рассеянно Лугин.

— Точно так-с!...

Бог знает почему Лугин на него рассердился.

— Пошел вон! — закричал он, топнув ногою.

Старый Никита покачал головою и вышел.

После этого Лугин лег в постель и заснул.

На другой день утром привезли остальные вещи и несколько начатых картин.

В числе недоконченных картин, большею частию маленьких, была одна размера довольно значительного; посреди холста, исчерченного углем, мелом и загрунтованного зелено-коричневой краской, эскиз женской головки остановил бы внимание знатока; но несмотря на прелесть рисунка и на живопись колорита она поражала неприятно чем-то неопределенным в выражении глаз и улыбки; видно было, что Лугин перерисовывал ее в других видах, и не мог остаться довольным, потому что в разных углах холста являлась та же головка, замаранная коричневой краской. То не был портрет; может быть, подобно молодым поэтам, вздыхающим по небывалой красавице, он старался осуществить на холсте свой идеал женщину-ангела; причуда понятная в первой юности, но редкая в человеке, который сколько-нибудь испытал жизнь. Однако есть люди, у которых опытность ума не действует на сердце, и Лугин был из числа этих несчастных и поэтических созданий. Самый тонкий плут, самая опытная кокетка с трудом могли бы его проведать, а сам себя он ежедневно обманывал с простодушием ребенка. С некоторого времени его преследовала постоянная идея, мучительная и несносная, тем более, что от нее страдало его самолюбие: он был далеко не красавец, это правда, однако в нем ничего не было отвратительного, и люди, знавшие его ум, талант и добродушие, находили даже выражение лица его довольно приятным; но он твердо убедился, что степень его безобразия исключает возможность любви, и стал смотреть на женщин как на природных своих врагов, подозревая в их случайных ласках побуждения посторонние — и объясняя грубым и положительным образом самую явную их благосклонность.

Не стану рассматривать, до какой степени он был прав, но дело в том, что подобное расположение души извиняет достаточно фантастическую любовь к воздушному идеалу, любовь самую невинную и вместе самую вредную для человека, с воображением.

В тот день, который был вторник, ничего особенного с Лугиным не случилось: он до вечера просидел дома, хотя ему нужно было куда-то ехать. Непостижимая лень овладела всеми чувствами его; хотел рисовать — кисти выпали из рук; пробовал читать — взоры его скользили над строками и читали совсем не то, что было написано; его бросало в жар и в холод; голова болела; звенело в ушах. Когда смерклось, он не велел подавать свеч и сел у окна, которое выходило на двор; на дворе было темно; у бедных соседей тускло светились окна; — он долго сидел; вдруг на дворе заиграла шарманка; она играла какой-то старинный немецкий вальс; Лугин слушал, слушал — ему стало ужасно грустно. Он начал ходить по комнате; небывалое беспокойство им овладело; ему хотелось плакать, хотелось смеяться.... он бросился на постель и заплакал; ему представилось все его прошедшее, он вспомнил, как часто бывал обманут, часто делал зло именно тем, которых любил, какая дикая радость иногда разливалась по его сердцу, когда видел слезы, вызванные им из глаз, ныне закрытых навеки, и он с ужасом заметил и признался, что он недостойн был любви безотчетной и истинной, и ему стало так больно! так тяжело!

Около полуночи он успокоился, сел к столу, зажег свечу, взял лист бумаги и стал что-то чертить; — все было тихо вокруг. Свеча горела ярко и спокойно; он рисовал голову старика, — и когда кончил, то его поразило сходство этой головы с кем-то знакомым! — Он поднял глаза на портрет, висевший против него, — сходство было разительное; он невольно вздрогнул и обернулся; ему показалось, что дверь, ведущая в пустую гостиную, закрипела; глаза его не могли оторваться от двери.

— Кто там? — вскрикнул он.

За дверьми послышался шорох, как будто хлопали туфли; известка посыпалась с печи на пол.

— Кто это? — повторил он слабым голосом.

В эту минуту обе половинки двери тихо, беззвучно стали отворяться; холодное дыхание повеяло в комнату; —

дверь отворялась сама; в той комнате было темно, как в погребѣ.

Когда дверь отворилась настежь, в ней показалась фигура в полосатом халате и туфлях: то был седой сторбленный старичок; он медленно подвигался, приседая; лицо его, бледное и длинное, было неподвижно, губы сжаты; серые, мутные глаза, обведенные красной каймою, смотрели прямо без цели.

И вот он сел у стола против Лугина, вынул из-за пазухи две колоды карт, положил одну против Лугина, другую перед собой и улыбнулся.

— Что вам надобно? — сказал Лугин с храбростью отчаяния. Его кулаки судорожно сжимались, и он был готов пустить скандалом в незваного гостя.

Под халатом вздохнуло.

— Это несносно! — сказал Лугин задыхающимся голосом. Его мысли мешались. —

Старичок зашевелился на стуле; вся его фигура изменялась ежеминутно, он делался то выше, то толще, то почти совсем съеживался; наконец принял прежний вид.

«Хорошо, — подумал Лугин, — если это привидение, то я ему не поддамся». —

— Не угодно ли, я вам промечу штосс? — сказал старичок.

Лугин взял перед ним лежавшую колоду карт и отвечал насмешливым тоном: «а на что же мы будем играть? — я вас предваряю, что душу свою на карту не поставлю! — (Он думал этим озадачить привидение...) А если хотите, — продолжал он, — я поставлю клонгер; не думаю, чтоб водились в вашем воздушном банке».

Старичка эта шутка нимало не сконфузила.

— У меня в банке вот это! — отвечал он, протянув руку; — «Это? — сказал Лугин, испугавшись и кинув глаза налево, — что это?» Возле него колыхалось что-то белое, неясное и прозрачное. Он с отвращением отвернулся. «Мечите! — потом сказал он, оправившись, и, вынув из кармана клонгер, положил его на карту. — Идет, темная». — Старичок поклонился, стасовал карты, срезал и стал метать. Лугин

поставил семерку бубен, и она с оника была убита; старичок протянул руку и взял золотой.

— Еще талью! — сказал с досадою Лугин.

Оно покачало головою.

— Что же это значит?

— В середу, — сказал старичок.

— А! в середу! — вскрикнул в бешенстве Лугин; — так нет же! не хочу в середу! завтра или никогда! слышишь ли? —

Глаза странного гостя пронзительно засверкали, он опять беспокойно зашевелился.

— Хорошо, — наконец сказал он, встал, поклонился и вышел, приседая. Дверь опять тихо за ним затворилась; в соседней комнате опять захлопали туфли.... и мало-по-малу все утихло. У Лугина кровь стучала в голове молотком; странное чувство волновало и грызло его душу. Ему было досадно, обидно, что он проиграл!....

«Однако ж я не поддался ему! — говорил он, стараясь себя утешить, — переупрямил. В середу! как бы не так! что я за сумасшедший! Это хорошо, очень хорошо!.. он у меня не отделается».

— А как похож на этот портрет!... ужасно, ужасно похож! — а! теперь я понимаю!....

На этом слове он заснул в креслах. — На другой день утром никому о случившемся не говорил, просидел целый день дома и с лихорадочным нетерпением дожидался вечера.

«Однако я не посмотрел хорошенько на то, что у него в банке! — думал он, — верно что-нибудь необыкновенное!» Когда наступила полночь, он встал со своих кресел, вышел в соседнюю комнату, запер на ключ дверь, ведущую в переднюю, и возвратился на свое место; он недолго дожидался; опять раздался шорох, хлопанье туфель, кашель старика, и в дверях показалась его мертвая фигура. За ним подвигалась другая, но до того туманная, что Лугин не мог рассмотреть ее формы.

Старичок сел, как накануне, положил на стол две колоды карт, срезал одну и приготовился метать, повидимому не ожидая от Лугина никакого сопротивления; в его глазах

блистала необыкновенная уверенность, как будто они читали в будущем. Лугин, остолбеневший совершенно под магнетическим влиянием его серых глаз, уже бросил было на стол два полуимперIALа, как вдруг он опомнился.

— Позвольте,— сказал он, накрыв рукою свою колоду.

Старичок сидел неподвижен.

— Что бишь я хотел сказать! — позвольте, — да!

Лугин запутался.

Наконец, сделав усилие, он медленно проговорил:

— Хорошо.... я с вами буду играть, я принимаю вызов, — я не боюсь — только с условием: я должен знать, с кем играю! как ваша фамилия?

Старичок улыбнулся.

— Я иначе не играю,— проговорил Лугин, меж тем дрожащая рука его вытаскивала из колоды очередную карту.

— Что-с? — проговорил неизвестный, насмешливо улыбаясь.

— Штос? кто? — У Лугина руки опустились: он испугался. В эту минуту он почувствовал возле себя чье-то свежее ароматическое дыхание, и слабый шорох, и вздох невольный, и легкое огненное прикосновение. Станный, сладкий и вместе болезненный трепет пробежал по его жилам. Он на мгновение обернул голову и тотчас опять устремил взор на карты: но этого минутного взгляда было бы довольно, чтоб заставить его проиграть душу. То было чудное и божественное виденье: склонясь над его плечом, сияла женская головка; ее уста умоляли, в ее глазах была тоска невыразимая..... она отделялась на темных стенах комнаты, как утренняя звезда на туманном востоке. Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно-неземного, никогда смерть не уносила из мира ничего столь полного пламенной жизни: то не было существо земное — то были краски и свет вместо форм и тела, теплое дыхание вместо крови, мысль вместо чувства; то не был также пустой и ложный призрак.... потому что в неясных чертах дышала страсть бурная и жадная, желание, грусть, любовь, страх, надежда, — то была одна из тех чудных красавиц, которых рисует нам молодое воображение, перед которыми в волнении

пламенных грез стоим на коленях, и плачем, и молим, и радуемся бог знает чему — одно из тех божественных созданий молодой души, когда она в избытке сил творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована.

В эту минуту Лугин не мог объяснить того, что с ним сделалось, но с этой минуты он решился играть — пока не выиграет: эта цель сделалась целью его жизни, — он был этому очень рад. —

Старичок стал метать: карта Лугина была убита. Бледная рука опять потащила по столу два полуимпериала.

— Завтра, — сказал Лугин.

Старичок вздохнул тяжело, но кивнул головой в знак согласия и вышел, как накануне. —

Всякую ночь в продолжение месяца эта сцена повторялась: всякую ночь Лугин проигрывал, но ему не было жаль денег, он был уверен, что наконец хоть одна карта будет дана, и потому все удваивал куши; он был в сильном проигрыше, но зато каждую ночь на минуту встречал взгляд и улыбку — за которые он готов был отдать все на свете. Он похудел и пожелтел ужасно. Целые дни просиживал дома, запершись в кабинете; часто не обедал. Он ожидал вечера, как любовник свиданья, и каждый вечер был награжден взглядом более нежным, улыбкой более приветливой; *она* — не знаю, как назвать ее? — она, казалось, принимала трепетное участие в игре; казалось, она ждала с нетерпением минуты, когда освободится от ига несносного старика; и всякий раз, когда карта Лугина была убита, она с грустным взором оборачивала к нему эти страстные, глубокие глаза, которые, казалось, говорили: «смелее, не упадай духом, подожди, я буду твоею, во что бы то ни стало! я тебя люблю»... и жестокая, молчаливая печаль покрывала своей тенью ее изменчивые черты. — И всякий вечер, когда они расставались, у Лугина болезненно сжималось сердце — отчаянием и бешенством. Он уже продавал вещи, чтоб поддерживать игру; он видел, что невдалеке та минута, когда ему нечего будет поставить на карту. Надо было на что-нибудь решиться. Он решился. —

«Князь Индостанский»

ПРИЗРАКИ

Князь Индостанскій.

ПРИЗРАКИ.

ОКОНЧАНИЕ ПОВѢСТИ

М. Ю. Лермонтова,

начинающейся словами: «У графини В... былъ музыкальный вечеръ»—и прерывающейся на словахъ: «Онъ рѣшился».

Фантастическій рассказъ.



МОСКВА.

Типо-лит. Высочайше утв. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и Н^о,
Пименовская ул., соб. домъ.

1897.

ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ.

Еще во времена своего студенчества я познакомился с князем Индостанским и вскоре близко сошелся с ним, привлеченный необыкновенною оригинальностью склада и направления его ума и характера. Впоследствии, как это часто бывает с людьми, мы, смотря по обстоятельствам и настроению минуты, то все более и более отдалялись один от другого, иногда совершенно теряя друг друга из вида, то опять сближались и некоторое время жили общими духовными интересами. Однако же, за все время нашего продолжительного знакомства между нами никогда не возникало ни тени какого-нибудь недоразумения. Поэтому, нет ничего удивительного в том, что я настолько узнал его, насколько можно было узнать этого странного, вероятно, самому себе непонятного человека.

Он был среднего роста, очень широкоплеч, очень крепко сложен и отличался удивительной силой. Черты его красивого лица носили ясный след восточного происхождения.

Я был, может быть, единственным человеком, с которым он бывал иногда откровенен; всех других людей он чуждался с каким-то врожденным страхом; в особенности же, боялся он женщин: они внушали ему, казалось, какой-то физиологический ужас.

Он блистательно окончил курс университета, потом очень много путешествовал по всему земному шару, никогда не переставая знакомиться с произведениями человеческого гения, во всех его проявлениях, во все времена и у всех народов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что его философские и эстетические воззрения скоро достигли чрезвычайной, исключительной широты. И однако же, его духовная сила и зрелость не проявляли себя ни в чем внешнем. Он оставался всегда каким-то загадочным, тревожным, часто противоречивым, парадоксальным, скитальцем не связанным ни с кем и ни с чем никаким практическим

интересом, что было для него тем легче, что он был очень богат.

Я часто спрашивал себя, почему это происходит, и не мог найти ясного ответа. Я догадывался только, что его нежелание проявить себя в действительности, боязнь этой действительности, стояла в какой-то таинственной, глубокой и тем более неотразимой связи с проникавшей все его существо мистической потребностью. И чем дольше он жил, тем страстнее и страстнее становилось его стремление в парадоксальный мир мистицизма и тем глубже и глубже становилось его отчуждение от действительности, от людей, в особенности от женщин.

В самое последнее время он сделался убежденным, страстным последователем спиритизма. Я с опасением замечал, что настроение, цикл дум и чувств этой точки зрения — захватывают его с неотразимою, прямо опасною силою, и попробовал было свести его с этого пути, но скоро должен был убедиться в том, что мои усилия, при полной бесполезности, только раздражали его и отдаляли от меня...

Таков был князь Индостанский.

В один из длинных зимних вечеров, когда бледная зоря тихо угасала на западе, а на востоке уже выплывала большая, полная луна, между тем как мороз все крепчал и крепчал, князь Индостанский заехал ко мне. Скоро на столе появился самовар, и, при мягком свете лампы, снабженной матовым колпаком, мы принялись пить чай. Сначала разговор не клеился, но когда он случайно напал на в высшей степени интересный психологический вопрос, касающийся процесса творчества, мы оба сразу как бы встрепенулись.

Речь зашла, именно, о сотрудничестве при создании художественных произведений.

Я поспешно высказался об этом способе творчества с презрительной насмешкой.

— Писать так, — сказал я, — могут только люди, которые неспособны понять, что художественное произведение есть органическое целое, созданное единым вдохновением единого духа... Эти господа, напротив, убеждены, что можно создать истинно-художественное произведение механиче-

ским собиранием подробностей, вроде того, как повар готовит винегрет или окрошку. Тогда, конечно, будет безразлично, пишет ли произведение один, два или десять человек, лишь бы между ними состоялось грубое соглашение относительно самой фабулы и характеров действующих лиц, причем характеры эти обрисовываются самыми топорными выражениями, вроде: «человек горячий, злой, флегматический, добрый...» А иногда так и еще лучше: скажут про человека, что он «южанин», и довольно. Это уж география какая-то. Новейшие французы-реалисты в этом отношении достигли особенно блестящих результатов... И удивительно, как это публика не замечает того, что произведения этого рода преисполнены противоречий и несообразностей — именно от того, что они писаны разными лицами! Ведь, это так ясно! С первых же слов так и пахнёт деланностью от этих произведений!...

— Положим, — закончил я, перебивая сам себя: — таких противоречий и несообразностей не оберешься даже и в произведениях, писанных одним и тем же лицом...

Князь Индостанский внимательно слушал меня, глядя на меня своим неподвижным, загадочным взглядом; я продолжал:

— Все эти «сотрудники», именно, люди бездарные... Поразительна их неспособность понимать тонкие черты и оттенки. Что-то базарное, фабричное чувствуется в них. Это не больше, как попытки подделать настоящее художественное произведение, как подделывают олеографию под картину, писанную масляными красками художником, — да сбыть поскорее свой дрянной товар на Толкучем рынке литературы..

Я замолчал, и тогда начал говорить князь Индостанский.

— Я с величайшим удовольствием подпишусь обеими руками под каждым из всех сказанных тобою слов, и однако же я настаиваю на том, что возможно и истинное творчество в сотрудничестве.

Я с любопытством смотрел на него: зная его самобытный образ мыслей, я с нетерпением и удовольствием ожидал

от него какого-нибудь нового, замечательного парадокса.

— Каким образом? — сказал я, вызывая его на объяснение.

— Я того мнения, — ответил князь Индостанский: что всякое истинно-художественное произведение не есть произвольный вымысел художника, хотя бы и очень разумно и последовательно составленный. Я того мнения, что каждое истинно-художественное произведение есть только снимок с действительной, реальной, самостоятельно, вне воображения художника существующей идеи. А если так, то почему бы два различных художника не могли увидеть и описать одну и ту же идею, как два различных зоолога могут изучить и описать одно и то же животное?

Я невольно задумался, размышляя так:

«Этот парадокс, — есть ли он самый крайний материализм или самый крайний идеализм? С одной стороны, идее, несомненно, есть нечто абсолютно духовное, но с другой стороны, она существует, по этому взгляду, независимо, как вещь, *res*^{*}, и потому реальна и может быть изучаема, как, например, — действительное животное. Конечно, крайние противоположности стоят часто ближе друг к другу, чем мы это думаем обыкновенно, — противоположности сходятся. Притом, абсолютная победа идеализма над материализмом — не состоит ли именно в полном признании всего положительного содержания материализма, во всем его объеме, то есть, в признании всех его законных требований, причем и обнаружится его ограниченность и произойдет переход в противоположное...»

— Укажи мне, однако, хотя один пример такого истинного сотрудничества, — сказал я вслух.

— Таких примеров много, — ответил князь Индостанский, защищая свою мысль. — Но, по странному совпадению, которого я не могу считать случайным, разговор этот зашел как раз для меня кстати. Дело в том, что я принес с собою написанное мною окончание известного отрывка повести Лермонтова, — отрывка, начинающегося словами: «У

* Вещь, реальность (*лат.*). — *Прим. ред.*

графини В... был музыкальный вечер» — и прерывающегося на словах: «Он решился». Я утверждаю, что я видел — внутренним чувством — ту же действительную идею, на которую смотрел и Лермонтов, когда писал свой отрывок. Если ты расположен удалить мне не более получаса своего внимания, то я прочту тебе сейчас свое окончание, а ты потом скажешь мне о нем свое мнение. Ты заметишь, конечно, что окончание это писано не Лермонтовым, — как это и естественно...

При этих словах князь Индостанский добродушно усмехнулся.

— Различие это должно отнести на счет особенностей авторов. Но что и Лермонтов, и я — описываем один и тот же реальный факт, в этом, я уверен, ты не усомнишься...

— Ты заинтересовываешь меня в высшей степени, — сказал я.

— В таком случае, — отвечал князь Индостанский, — я попрошу у тебя сочинения Лермонтова: необходимо возобновить этот отрывок в твоей памяти...

Я принес книгу, князь Индостанский нашел отрывок, придвинул к себе лампу и начал читать. Прочтя последние слова отрывка: «Он решился» — князь Индостанский вынул из бокового кармана своего пиджака рукопись и начал читать то, что помещено после этого предисловия...

Я прослушал весь рассказ от слова до слова, совершенно поддавшись его обаянию. Несмотря на необузданную прозрачность и как бы безумие рассказа, я чувствовал, что в нем заключается такая правда, которая, раз только коснувшись души, уже никогда не может забыться....

Разговор не клеился. Я чувствовал как бы какую-то эстетическую полноту в душе, — полноту, при которой не хочется говорить. И замечательно, что я уже не вспоминал больше того повода, по которому был прочитан этот рассказ: я думал о самом рассказе.

— Ты должен издать этот рассказ, — сказал я наконец, после долгого молчания.

— Ни в каком случае, — отвечал спокойно и твердо князь Индостанский.

— Отчего?

— Оставим этот разговор.

Вскоре после этого вечера князь Индостанский уехал за границу, и я уже никогда не видал его больше с тех пор, потому что он, немного времени спустя, погиб ужасною смертью: во время переезда из Марселя в Аячио, он, в припадке безумия, бросился за борт парохода в море и утонул.

Когда прошло первое потрясение, которое я испытал по получении страшного известия, я вспомнил последний, проведенный вместе с ним вечер, вспомнил прочитанный им рассказ, и мне стало невыразимо жаль этого рассказа, так как я не надеялся спасти его от уничтожения. Поэтому, нет ничего удивительного в том, что я обрадовался, как ребенок игрушке, когда, почти год спустя, родственники князя Индостанского, во исполнение его воли, выраженной им в найденной после его смерти записке, переслали ко мне все его рукописи, в которых, кроме рассказа, который мне так понравился, я нашел и еще несколько рассказов и повестей, которые все были проникнуты одним и тем же, если позволено так выразиться, мистически-материалистическим мирозерцанием.

Когда я прочел все эти повести и рассказы, они показались мне в высшей степени замечательными, если, быть может, и не сами по себе, то, по крайней мере, как «психологические факты» души их автора, который мог бы служить характерным представителем того типа «мистика», для которого «мистицизм» не есть надуманная теория, а единственно возможное настроение души, которым он живет на свой риск и страх, направляясь иногда по совершенно ложным путям.

Печатаю на первый раз только один рассказ из всех полученных мною повестей и рассказов, в надежде со временем издать их все. Считаю это своевременным, ввиду того интереса к «оккультизму», который так неожиданно ожил вновь в нашем образованном обществе за последнее время.

Издатель.

ПРИЗРАКИ.

Окончание повести М. Ю. Лермонтова, начинающейся словами:
«У графини В... был музыкальный вечер» — и прерывающейся
на словах: «Он решился».

Он знал, он чувствовал, что призраки эти являются ему не даром, что тут кроется какая-то страшная тайна, которой он пока не в силах был постигнуть: он догадывался, что никогда не выиграет призрачной женщины за деньги, как никогда не завладеет ею силою. Он понимал все это и потому решился спросить у старика прямо и настойчиво, какою ценой можно купить у него призрачную женщину... Временами он боролся еще, однако, с охватившею его страстью: ему хотелось как бы разрешить в ясных, холодных, сознательных мыслях тот иррациональный элемент, который имел такое безусловное значение во всем, что с ним теперь происходило. И это противоречие, эта борьба только еще больше волновала его, доводя порою до бешенства, но несколько не ослабляя, а скорее даже возбуждая его решимость...

Весь следующий затем день был он в чрезвычайном волнении. Какая-то злобная радость исполняла трепетом все существо его; он ходил по комнате, беспрестанно останавливаясь и усмехаясь вызывающей, дерзкой улыбкой; порой смеялся он даже вслух и произносил:

— Тем лучше!... Я это знал давно!...

Чем ближе подвигался день к вечеру, тем волнение его становилось все сильнее, и в сумерки он трепетал всем телом, будто в страшнейшем ознобе, и был почти в бреду...

Приближался урочный час...

Вдруг дверь в спальню отворилась, и в нее степенно вошел Никита с подносом, на котором погромыхивал чайный прибор. Поставив его на стол и принеся затем самовар, Никита не вышел из комнаты: стоя на одном месте и переминаясь с ноги на ногу, он тяжело вздыхал. Лугин обра-

тил на него наконец свое внимание.

— Что же ты стоишь?— сказал он: — убирайся вон! Да прими самовар: я не буду пить чай...

Никита все стоял, вздыхая.

— Чего ж ты стоишь?

— Уедемте отсюда, батюшка-барин! — сказал наконец Никита решительно.

— Это что еще?

— А то, что здесь...

Никита оглянулся, содрогаясь...

— Нечисто здесь, — решил он, наконец, сказать.

— Что нечисто? Пол не чист? Стены? Так ты убирай хорошенько комнаты, вот и будет чисто.

— Он тут живет, батюшка-барин, — таинственно сказал Никита.

Лугин вздрогнул. Он подошел к Никите вплоть, взял его за плечи и с жадностью спросил его:

— Ты разве что-нибудь заметил?

— Как же не заметить-то, батюшка-барин. Кто же это туфлями-то хлопает, да кашляет, да вздыхает, как не он?

— Ты это слышал? Слышал?

— Да как же не слышать-то, батюшка-барин? Такого страху натерпелся, что сохрани Господи всякого!

— Так это я не в бреду был?

— Какое там в бреду!... Уедемте, батюшка-барин! Пожалейте вы хоть себя-то! Посмотрите: на кого вы похожи стали? Ведь вы совсем больные-с! Уедемте-с! Пропади он пропадом этот патрет-с!

— Какой портрет? — встрепнулся Лугин.

— Ох, Господи! Да неужли ж это вы, батюшка-барин, и впрямь ничего не заметили? Вот этот самый патрет-с, — ответил Никита, нехотя кивнув на него головой и дико на него косясь.

— Что же ты в нем заметил?

— А что он пустой бывает-с!

— Как пустой?

— Так, — пустой-с! Как двенадцать часов пробьет, так он пустой-с.

— Ты лжешь, болван!
— Помилуйте, батюшка-барин: как же мне лгать-с?
— Дурак! Ведь, этот старик не живой! Ведь, он нарисован только!

— А кто ж его знает-с!

— Как кто ж его знает! Я знаю, ты знаешь! Пощупай: он нарисован на полотне и только. Как же он может уйти с полотна?!

— Не могу знать-с! Только что уходит-с. И белая эта уходит-с.

— Какая белая?

— А вон, что у него за плечами стоит-с, — ответил Никита почти шепотом и дрожа всем телом, как в лихорадке.

Лугин взглянул на портрет, — действительно: за плечами у старика, из сероватого фона явственно выделялась светлая фигура, и это была она, несомненно она! Как мог он до сих пор не заметить ее?

Он вздрогнул.

— Ступай, ложись спать! — сказал он строго Никите.

— Уедемте, батюшка-барин, — начал было опять умоляющим голосом Никита, но Лугин крикнул на него, топнув:

— Пошел вон, осел!

И Никита удалился, тяжело вздыхая, а Лугин, по обычаю, запер за ним дверь в переднюю.

Лугин в волнении ходил по комнате взад и вперед.

«Итак, — думал он: — теперь нет никакого сомнения: это не бред мой, это настоящие призраки! Удивительно! Непостижимо! Я никогда не сомневался в возможности таинственного, чудесного, но этого я не мог ожидать! И какая же связь между портретом, то есть, механическим сочетанием, красок и призраком? И что это: настоящие, живые призраки или только одна видимость? Недаром я всегда так верил в чудесную силу искусства вообще и в особенности — живописи, — верил, что художник не только подражает, но и творит: ведь, если так, то почему бы ему не создать живого существа, — если механизм, техника искусства будут побеждены им абсолютно? А в этом портрете они побеждены абсолютно, хотя он и очень плохо нарисован...»

С этой последней мыслью Лугин взглянул на портрет, и с широко открытыми глазами отступил шаг назад: на сером фоне полотна его фигур не было...

До этого мгновения Лугин, казалось, ничего не видел и не слышал, погруженный в свои полусознанные, непостижимые видения и озарения; теперь он вдруг сосредоточился весь и упорно, неподвижно уставился на дверь в гостиную... Там все было тихо...

Нетерпение изобразилось вдруг на лице Лугина, и он раздражительно крикнул:

— Я вас жду, милостивый государь!

Голос его гулко и дико отозвался в гостиной и замер. И вот, дверь гостиной начала вдруг тихо и беззвучно отворяться; послышался обычный, как бы надтреснутый кашель и шлепанье туфель. Лугин вскочил. В мрачной, как гроб, бездне гостиной показалась мертвенная фигура старика, с редкими, тонкими, как пух, седыми волосами, с бледным, худым лицом, с резко выдающимся носом мертвеца и с полужакрытыми, стеклянными, бесцельно-неподвижными глазами. Он был, казалось, в состоянии глубокого гипноза. Точно какая-то чуждая сила тяготела над ним, не позволяя ему ни думать, ни чувствовать, ни двигаться произвольно, — превращая его в манекен.

Лугин не обратил на него никакого внимания и смотрел дальше, в глубь гостиной. Там появилась белая фигура призрачной женщины. Голова ее была склонена, но глаза с мольбою были подняты на Лугина, как на спасителя; слезы дрожали в них. Лугин бросился к дивному призраку с простертыми руками, но старик безжизненно, как часовой, которому запрещено глядеть в сторону, заступил ему дорогу. Точно холодная змея проползла по телу Лугина, когда он коснулся руки старика. Он содрогнулся от отвращения, отступил шаг назад и молча стал смотреть на старика испытующим взглядом. Потом он вдруг громко расхохотался и сказал:

— Прошу вас к столу, милостивый государь!

И старик пошел к столу, приседая. Это была странная походка! Все движения ее были точно умышленны и в то

же время безучастны: Лугин видел, что тут был какой-то чисто механический секрет, без выполнения которого невозможно было то, что происходило теперь. Старик подошел к столу, сел в кресло и достал из-за пазухи карты. До этого мгновения он еще не смотрел на Лугина, упорно уставившись своим странным взглядом вдаль. Теперь он медленно, как бы нехотя обратил взор свой на Лугина... Лугин взглянул на него тоже, и, когда взоры их встретились, он в ужасе содрогнулся. Этот бесцельно-неподвижный, стеклянный взгляд старика был страшен. В нем была какая-то непостижимая, страшно-объективная пронизательность. Казалось, точно душа этого существа вышла через этот мертвенный взгляд во внешний мир, так что ей не нужно уже было пользоваться этими глазами, смотреть через них, для того, чтобы видеть: она видела все и так. И вдруг, на одно только короткое мгновение, вспыхнула в них какая-то страшно-подозрительная злоба. Лугин смутился и опустил глаза.

Призрак тяжело вздохнул, содрогаясь всем телом, как это делают гипнотики, когда им дунут в лицо и они напрасно усиливаются пробудиться. Когда затем Лугин снова поднял свои взоры, то увидал, что фигура призрака вся как бы волнуется и колеблется, непрерывно изменяя свою величину и очертания. Случалось ли читателю видеть изменения цвета кожи хамелеона? В каждое данное мгновение вы не можете уловить этого изменения, и, тем не менее оно совершается у вас на глазах быстро и видимо. Так изменялась и фигура призрака. Затем, очертания стали становиться все определеннее, и скоро из колеблющейся массы восстановился прежний призрак, но выражение гипноза совершенно исчезло теперь: он улыбался, и лицо его приняло отпечаток обнаруженной и законфузившейся низости и подлости, только глаза оставались все еще мало подвижными. Лугин смотрел на него в оцепененном изумлении с тем чувством, с каким мы смотрим на новый, непонятный нам физический опыт.

— Нельзя ли оставить эти отвратительные механические секреты! — сказал он потом. — Довольно того, что лю-

ди не могут обойтись без них, чтобы жить!

Но вдруг почувствовал он новый прилив злобной радости.

— Вы разгадали меня, милостивый государь! Я видел это по вашему взгляду. Это в другое время, месяц тому назад, было бы для меня невыносимым оскорблением, но теперь — теперь мне это все равно, я даже рад этому. Вы разгадали меня, вы разгадали мою душу... Тем хуже для вас!

И он расхохотался злобно.

— Кроме мрака, отчаяния и зла вы ничего не найдете в душе моей! Я сам — понимаете ли вы это? — я сам ненавижу свою душу и проклиная ее! Берите ее, если она вам нужна!

— Взял бы,— коротко ответил призрак, и Лугин содрогнулся от этого сиплого, как бы надтреснутого голоса. Читателю случалось, вероятно, слышать этот голос у умирающих. Однако же, Лугин тотчас оправился и сказал:

— Она вам сродни, милостивый государь, — моя душа!... Только напрасно вы думаете, — бешено продолжал он, — что меня можно обольщать, что меня можно заманивать, как ребенка игрушками! Знайте: я иду в погибель, но иду сам, сознательно, ни во что не веря, так же, как и вы!...

Призрак все улыбался своей неестественной, заискивающей улыбкой.

— Вы думаете, милостивый государь, — злобно продолжал Лугин, — что я верю в этот призрак?

Он показал рукою в ту сторону, где стояла призрачная женщина, но, в то же время, отвратил лицо свое, будто боясь даже случайно увидеть ее.

— Вы думаете, милостивый государь, я не понимаю, что это только призрак, мечта, сонь, бред, вдохновение? В нем ничего нет существенного Это обман, это ложь, это только облик, только форма без содержания, это — не настоящее существо! Он исчезнет, как дым, как туман, при первом прикосновении!...

Призрак все улыбался.

— Но что мне до этого? — продолжал Лугин все страстнее и страстнее, со взглядом, исступленно прикованным

к призраку. — Что мне до этого? Разве и весь мир не призрак? Разве я сам не призрак? Не мимолетное виденье? Через мгновение, быть может, разорвется мое сердце, — оно же так страшно сильно и неровно бьется! — и где тогда вы будете искать меня? Не верю в вечное, не верю в бесконечное, не верю в существенное!

Что-то сверкнуло в глазах призрака. Лугин засмеялся.

— Эти мысли, как я вижу, по вкусу вам, милостивый государь! Тем лучше! Вам, конечно, понравится также, если я скажу теперь, что верю только в мгновенное наслаждение — безумное и преступное?

При этих словах Лугина, в стеклянных глазах старика, снова сверкнула вдруг точно молния, сознательная, подозрительная злоба. Но Лугин не заметил этого взгляда и продолжал:

— Этот ваш залог — это не душа, это — призрак... Но, ведь, он может дать мне мгновенное наслаждение — безумное и преступное? Может?

— Может.

— Знаю, что может! Я не знаю, демон ли вы, милостивый государь, или душа умершего человека... Я думаю, последнее вернее, потому что вот здесь, на стене, висит ваш портрет, — по временам исчезающий. Но это мне все равно! И демон — призрак, и душа умершего — призрак: нынче она видима, как привидение, завтра она — ветер, облако, молния... Все призрак!

Он засмеялся.

— Я отлично понимаю, милостивый государь, — воскликнул он снова: — что я никогда не выиграю у вас этого призрака, играя с вами на деньги. Это обстоятельство, между прочим, не делает чести вашим правилам — ха, ха, ха! Но не в том теперь дело! Я понимаю также очень хорошо, что не могу завладеть залогом вашим и насильственно, механически: пусть я схвачу его, — он исчезнет, вот и все! Но вы — как бы то ни было! — вы, конечно, можете его мне отдать! Итак: чего хотите вы взамен этого призрака?

— Это душа, и я могу только проиграть ее.

— Что же я должен поставить на карту, чтобы шансы выигрыша и проигрыша стали для меня равны?

— Душу.

— Какую душу?

— Вашу.

Лугин вздрогнул. Снова точно что-то влажное и холодное скользнуло по нем. Но он сейчас же оправился и сказал, злобно смеясь:

— Я вам сказал уже, что я только призрак, только ряд преходящих явлений!

Новое выражение явилось в лице призрака: он остановил на Лугине свой неподвижный взгляд, который принял едва уловимое выражение презрительной насмешки. Таким взглядом смотрят, слушая самоуверенную болтовню глушцов.

— Что-с? — сказал призрак тихо.

— Опять «Штос»? — воскликнул Лугин вздрогнув, но, возвращаясь к своим мыслям, он продолжал:

— Ха! Из-за этого нельзя много спорить! Только, как же это сделать? Покорнейше прошу вас, милостивый государь, оставить эту комедию и ответить мне категорически на вопрос: что должен я делать?

Призрак помолчал и потом еще более тихим, заискивающим голосом, в котором слышалась и насмешка, сказал опять:

— Что-с?

— Перестанете ли вы повторять это «Штос»?! — бешено воскликнул Лугин, вздрогнув, и, вспомнив, как он уже не однажды вынимал трепещущей рукою из колоды карту против своей воли, он вскричал:

— Не думаете ли вы, милостивый государь, что я во власти чуждых мне сил?

— Что-с?

— Я перестану говорить с вами, милостивый государь, если вы еще раз осмелитесь сказать мне «Штос»?! — все более раздражаясь, воскликнул Лугин.

Призрак молчал.

— На каком основании уверены вы, что я во всяком случае захочу выиграть ваш залог, то есть, этот призрак? — сказал потом Лугин.

— Душу, — поправил старик.

— Может быть, и душу! — с каким-то замиранием сказал Лугин. — Но вот, вы сказали мне, что я должен поставить на карту свою душу. Это нелепость, которая может иметь только аллегорический смысл. Или это опять какой-нибудь отвратительный, механический секрет? Но допустим, что я согласился и поставил душу свою на карту — ха, ха, ха! Что же тогда?

Снова с мгновенною силою сверкнула в глазах призрака молния неумолимой, подозрительной злобы, и он сказал своим надтреснутым голосом:

— Тогда случай решит, выиграете ли вы мой залог.

— Но разве случай может иметь какое-нибудь значение в вопросах нравственных?

Призрак опять остановил на Лугине свой презрительно-насмешливый взгляд.

— Если я выиграю ваш залог, тогда я не потеряю уже моей души? — спросил Лугин.

Призрак молчал.

— Говори же, демон! — бешено воскликнул Лугин. — Ты знаешь, что я во всяком случае потеряю душу свою! Но какой же во всем этом смысл?

Призрак не отвечал опять: он будто ждал того мгновения, когда окончится весь этот ненужный вздор и начнется настоящее.

— А что если я не буду играть с вами, милостивый государь? — в исступлении закричал Лугин.

— Вы никогда не обнимете ее в таком случае...

Тут Лугин, не в силах противиться долее своему желанию, тихо обратил свои взоры в сторону призрачной женщины. Она стояла, как олицетворение покорности, сложив вытянутые бессильно руки. Слезы стояли на чудных глазах ее. Она, казалось, стыдилась взглянуть на Лугина. Казалось, она сама считала себя безвозвратно погибшим существом, которому уже нельзя надеяться на избавление, а остается

только — страдать — вечно — без конца...

Вдруг неодолимое чувство бесконечной, страстной и нежной любви к этому прекрасному, отверженному, женственному существу исполнило его; в исступлении бросился он перед ней на колени и, простирая руки, чтобы обнять ее ноги, воскликнул:

— Божество мое — жизнь — святыня — люблю тебя!

Но едва он коснулся ее, или, лучше сказать, того места, где она была видима, как оба призрака, и женщина, и старик, — мгновенно исчезли, а Лугин с воплем отчаяния упал на пол и погрузился в глубокий обморок.

Несколько дней после этого пролежал он в постели. Страшная тоска томила его, тоска о призрачной женщине, которую полюбил он — он чувствовал это — какою-то непостижимой, огненной любовью.

Он, именно, точно весь горел в огне, объятый и исполненный воспоминанием об этом дивном, падшем и погибшем существе, и не призраке, а душе — он теперь в это свято верил. Он верил свято также и в то, что он призван спасти эту душу, хотя бы самому ему пришлось погибнуть. О, он готов был погибнуть — ведь он уж и так давно погиб! — лишь бы только раз обнять ее и поцеловать, не как призрак, а как душу! Но что было ему делать? Вот, в прошлый раз он решился сделать все, чтобы овладеть этой душой. И старик потребовал, чтобы он поставил на карту душу свою. Это было смешно, похоже на старинные басни, в которые он не верил. Он бы исполнил это шутя! Но вот, какой-то странный, неудержимый порыв огненной любви испортил все. И с этих пор привидения не являлись. Каждый вечер ждал их Лугин с непреодолимым нетерпением, но их не было...

И в первый раз в жизни изведal он теперь все муки безнадёжной любви. Теперь он искал уже не мгновенного наслаждения — «безумного и преступного», без веры; теперь он стремился к призрачной женщине, как к безусловной и единственной возможности своей жизни. Это была душа! Он знал, он чувствовал это! Это была душа, которую он страстно, безумно любил всепоглощающей любовью. И это бы-

ла душа погибшая, страстная, отданная во власть каких-то темных, злых сил. И он знал, он чувствовал, что только он, только он один может и должен спасти ее из рук этого проклятого старика. Невыразимое чувство сострадания влекло его к этой женщине.

«Отдать душу! Пусть берет ее, если только я буду вечно вместе с нею! Но что же он нейдет? И в каком состоянии теперь она?»

И страстное желание видеть, видеть ее исполняло все существо его мучительным нетерпением...

Он всегда верил в таинственное, но он не верил никогда в возможность безусловной, бесповоротной, губительной любви. Теперь любовь отомстила ему за себя, и теперь он готов был поверить в душу, в бессмертие...

Он ждал середины. Она пришла. До двух часов ночи просидел Лугин перед портретом, вглядываясь в туманную фигуру за плечами старика: краски и оставались мертвыми красками...

Дни шли за днями: призраки не являлись. Где было искать их? Что сделать, чтобы они явились? Чего бы не отдал теперь Лугин, чтобы еще раз, один только раз увидеть ее, упасть к ее ногам и сказать:

«Люблю тебя — безумно!».

Жизнь без этой призрачной женщины стала теперь до такой степени бесцельна, мертва, что сделалась невыносимой для Лугина, и он решился на самоубийство.

Он вошел в первую попавшуюся ему аптеку и спросил там морфину.

Аптекарь улыбнулся и сказал:

— Мы не имеем права отпускать этого лекарства без рецепта.

— Лекарства? Да, это хорошее лекарство, — сказал Лугин, странно глядя прямо в глаза аптекарю, но, содрогнувшись, прибавил: — Есть однако ж, как кажется, болезни, от которых даже оно не может излечить. Во всяком случае вы мне его отпустите.

Аптекарь улыбнулся еще более, точно хотел сказать: «видишь, как мы понимаем друг друга!» — и отпустил «ле-

карства».

Взяв сверточек в руки, Лугин сказал резко:

— Если вы, милостивый государь, смотрите на меня таким взглядом, то вам не следовало бы продавать мне этого лекарства!

Аптекарь, казалось, был удивлен таким замечанием.

Придя домой, Лугин вылил все содержимое склянки в рюмку, поставил ее на стол и сел перед нею в кресло...

Вся жизнь представилась воображению его...

Мрачный, безотрадный путь! Ни одного теплого воспоминания, на котором с любовью мог бы остановить он свой взгляд и, что было еще страшнее, ни одной привязанности!

И не насмешка ли это судьбы, что он, который никогда не любил ни одного живого существа, — так непостижимо отдался теперь призраку?

Но этого призрака нет теперь с ним и, конечно, не будет никогда! И не прав ли он был, когда так часто думал, что это был только непостижимо яркий, повторяющийся сон?... А свидетельство Никиты? Нет, это не призрак! Это — душа! Он мог бы быть не один теперь!

Но он один, один в целом мире! Кому он нужен? Кто пожалеет об его смерти? Призрак? Душа?

— Какой нынче день? — невольно и неожиданно подумалось Лугину.

— Середа-с! — сказал вдруг громко в передней Никита. Лугин вздрогнул.

— Я не спрашивал тебя! — крикнул он испуганно.

— А мне слышалось, батюшка-барин, вы изволили меня спросить, какой нынче день.

— Дурак! — сердито и испуганно крикнул Лугин. — Странное совпадение!

«Середа!» подумал он потом: «Быть может, они явятся?»

Он посмотрел на портрет: краски все оставались мертвыми.

Он медленно перевел взгляд свой на рюмку...

«Нет, они не явятся!» подумал он еще раз: «Ведь, не яви-

лись же они в прошлую среду!»

«Иди же, смерть! Иди!»

Он взял рюмку в руку и невольно взглянул на портрет: на сером фоне полотна его фигур не было. Он быстро обернулся к двери гостиной: она тихо и беззвучно отворялась...

Рюмка выпала из рук Лугина; он вскочил. Несколько мгновений стоял он в немом ожидании и потом воскликнул:

— Заклинаю тебя избавлением твоего страждущего, проклятого духа: приведи ее сюда! Ставлю душу свою на карту!

Призрак показался в двери: за ним печальная, туманная фигура призрачной женщины...

С воплем кинулся к ней Лугин в неизъяснимом восторге, но старик опять заступил ему дорогу и сказал резко:

— Садитесь!

Лугин содрогнулся и, будто вспомнив что-то, взглянул на старика. Он не узнал бы его: то дьявольское выражение, как адамант, жестокой, сознательной злобы, которое прежде только на мгновение, как молния, вспыхивало на мертвенном лице его, теперь вполне овладело им и неподвижно остановилось на нем. Теперь это был уже не гипнотик, лишенный своей воли и пассивно исполняющий волю чуждую ему, магнетически на него действующую: это был дух, одержимый собственной, сверхъестественною страстью, дошедшею до состояния неподвижного, злобного бесстрастия.

Лугин внимательно и как будто соображая что-то, долго смотрел на призрак, потом положил свою руку на карту и сказал:

— Послушай, проклятый призрак, скажи мне одно: если я выиграю ее, буду ли я с нею всегда?

— Не знаю, — резко ответил призрак.

— А если я проиграю ее, что будет тогда?

— Не знаю.

— Лжешь ты, проклятый! Я вижу по демонским взглядам твоим, что ты знаешь это, — воскликнул Лугин в бешенстве. — Ты хочешь морочить меня? Это не удастся тебе!

Что это за глупая мистификация? Что значит: поставить душу на карту? Что это за глупая комедия?

Призрак посмотрел теперь на Лугина с нескрываемой, злобной насмешкой.

— Ты, кажется, хочешь смеяться надо мной? — все более и более выходя из себя, воскликнул Лугин. — Но тебе не удастся это! — Слышишь ли: говори мне сейчас, в чем твое проклятье, или я сумею вырваться из-под этого обаяния!

Призрак содрогнулся. Блестящие теперь глаза его устremились вдаль. Он помолчал одно мгновение, как бы вспоминая, и потом сказал с важностью:

— Сегодня вы можете узнать это.

— Говори же! — воскликнул Лугин в нетерпении.

Призрак уставился на Лугина своим адамантово-жестоким взглядом, который будто говорил: «принимаю на себя все последствия моих слов и поступков» — и сказал, точно отчеканивая каждое слово:

— Я проиграл в карты честь моей дочери — молодому офицеру, моему сослуживцу.

Лугин вскочил.

— Но кто же дочь твоя?

— Вот, — ответил призрак, указав на призрачную женщину.

— Призрак? — воскликнул Лугин, боясь взглянуть в ее сторону.

— Душа, — ответил старик.

Лугин молчал.

— Когда же, где и как она умерла? — медленно, будто в изумлении, спросил он.

Старик вдруг улыбнулся какою-то улыбкой позора.

— Давно, много-много лет тому назад, — заговорил он: — она, опозоренная, выпила целую склянку морфина — в этой самой комнате, на этом самом месте, где вы стоите — в середине, — добавил он.

— На каком же кладбище ее могила?

— Самоубийц на кладбище не хоронят, — сказал как бы внушительно призрак, и лицо его мгновенно приняло опять

выражение бесповоротной, жестокой злобы.

Лугин молчал: он был потрясен.

— И ты, подлый дух, второй раз проигрываешь свою дочь в карты? — медленно и тихо, с глубоким негодованием, проговорил Лугин.

Злоба и жестокость, изобразившиеся на лице призрака, стали теперь бесконечными. Казалось, Лугин причинил ему словами своими страшную боль. Что-то мстительное исказило лицо его. И вот, вместо ответа, — это было невероятно и неожиданно, — но призрак вдруг сделал какую-то странную гримасу и оскалил зубы...

Лугин молчал в изумлении, не спуская глаз со страшного виденья. Потом он засмеялся и сказал:

— А! Вот что! Да вы, милостивый государь, настоящий упырь, как я вижу! Уж не высасываете ли вы по ночам у детей кровь?

Но вдруг, негодование с новой силой наполнило душу Лугина, и он воскликнул:

— Проиграть в карты честь своей дочери! Не могу понять такой беспредельной подлости!

Призрак закинул голову, будто тигр, готовый броситься на добычу: казалось, уши его даже прижались плотнее к голове.

— Ты ли говоришь мне это? — прохрипел он злобно. — Не ты ли ставишь на карту душу свою из любви к женщине? Не думаешь ли ты, что «страсть к женщинам» лучше «страсти к игре»?

Лугин смотрел на него некоторое время, как бы в изумлении, потом сказал только:

— Демон!

— А не демон тот, кто из любви к женщинам, из жажды «мгновенного наслаждения, безумного и преступного», отрывается от всего святого, от вечного, от бесконечного, от бессмертного? Мы могли бы понять друг друга!

— Сатана! — сказал опять Лугин.

— Если ты так ясно сознаешь свой позор, — прибавил он, помолчав: — ты мог бы избавиться от него.

— Почему же ты не делаешь этого, если веришь в сознание, в это продажное зеркало, которое, в бессильном равнодушии, отражает все, что перед ним ни поставишь?

— Но зачем же ты все это делаешь?! — уже как бы умоляя и со слезами, воскликнул Лугин.

— Теперь я могу сказать тебе все... Страшная, неумолимая сила тяготеет надо мною, — смерть, — сказал призрак и затрепетал, содрогаясь, как приговоренный: — и только губя и истребляя других, могу я на краткое мгновение вырываться из-под ее обаяния и ощущать злобный, преступный огонь — не наслаждения, нет! — но только жизни. На пути же добра — нет для меня жизни. Но страшно то, — продолжал призрак, содрогаясь снова: — что, с каждым новым шагом на этом ложном пути, с каждым новым преступлением — мое бессилие, при страшном напряжении воли и сознания, становится все глубже, и тем тяжелее тяготеет надо мною холодная рука смерти, отнимая меня у самого себя, тем большее усилие должен я употреблять, чтобы вырваться из-под нее. О, ужасно, ужасно!

И призрак весь затрепетал в невольном ужасе.

Лугин был страшно бледен. Лицо его было необычайно взволновано. Казалось, страшная внутренняя борьба происходила в нем.

— Это ты отдал, — воскликнул он вдруг: — свое презренное существование во власть темных и страстных сил, но не я! Я не поддамся им!

— Ты уже в их власти, — нагло смеясь, сказал призрак.

— Я свободен! — воскликнул Лугин, неистово взмахнув рукою. — Берегись, демон, что я поверю в эту призрачную женщину и полюблю ее, как живую душу! Тогда и всеми силами ада не отымешь ты ее у меня, не расторгнешь союза нашего!

— Любовь преступная и страстная не может иметь такой силы, — сказал призрак: — впрочем, я могу удалиться, — прибавил он с презрительной, злобной насмешкой.

И он встал.

— Мечи банк! — с отчаянием крикнул Лугин, испуганный мыслью, что призраки могут опять мгновенно исчез-

нута и, быть может, уже навсегда.

Призрак опять сел и взял карты в руки. Лугин взглянул на него и содрогнулся: такое мучительно-страстное выражение было в лице призрака! Глаза его выражали теперь сосредоточенное, безумно напряженное внимание, а углы рта его, узкие и длинные углы большого, тонкого рта, вздрагивали и подергивались... Но непостижимее и ужаснее всего было то, что глаза его начали вдруг светиться мертвым, холодным, фосфорическим — не отблеском, а скорее светом: призрак был страшен...

— Туз червей, — произнес Лугин, не помня себя.

Не в силах бороться долее с желаньем, Лугин медленно, как бы невольно, обратил глаза свои к призрачной женщине и уже не спускал их с нее: магнетическая сила приковывала их. А она, эта призрачная женщина, смотрела теперь на него страстным, зовущим взглядом.

Лугин тихо опустился перед ней на колени и заговорил:

— Люблю тебя, страдальческая, обольстительная душа — святыня, люблю тебя — люблю тебя в первый раз в жизни — и в последний раз — люблю тебя, отдаюсь тебе весь — никто не расторгнет союза нашего — люблю тебя, люблю, люблю — я не верил в любовь — не понимал ее, и вот — люблю тебя — святыня моя — люблю —

Призрак, между тем, отчетливо и резко выкладывал карту за картой, весь превратившись в мучительное ожидание. Видно было, что теперь шла для него уже настоящая игра, исхода которой он не предвидел, подобно тому, как это было, когда он играл с Лугиным на деньги.

Призрачная женщина простирала руки свои к Лугину, который говорил:

— О, не исчезай! — не уходи от меня! — обниму тебя — только один раз — и поцелую — в уста — и потом умру — святыня — жизнь —

Слезы градом катились из глаз его, умоляющий голос его рыдал...

Вдруг призрак выронил карту и в несказанном ужасе взвизгнул.

— Дама!

— Целуй, целуй меня! Обнимай меня! — тихо, как дыхание ветра, заговорила вдруг призрачная женщина.

С воплем блаженства бросился к ней Лугин, обнял ее крепко.

Страшный крик отчаяния огласил комнату: призраки исчезли, и в комнате послышалось вдруг какое-то странное хихиканье: нельзя было сомневаться, что это смеется низкий и подлый бесенок, способный понимать, но не способный чувствовать ничего великого.

Как безумный, бросился Лугин в гостиную с криком:

— Отдай мне ее! Отдай мне ее, демон! Она моя, моя! Люблю ее!

Новый крик отчаяния огласил комнату, и Лугин упал без чувств.

Никита, который всю ночь слышал безумные вопли Лугина, решился, наконец, постучаться к нему и, слыша вместо ответа только крики: «отдай, отдай мне ее, демон!» — решил, что барин его сошел с ума. Он отправился в полицию, заявил там о случившемся, и скоро в квартиру Лугина явились полицейские, в сопровождении участкового врача. Дверь оказалась запертою, и так как Лугин не слышал никаких увещаний, то ее пришлось выломать.

Страшная картина представилась взорам вошедших: Лугин лежал на полу и, в состоянии полного умоисступления, все повторял бессознательно, крепко прижимая руки к груди:

— Отдай, отдай мне ее, демон!

Он томился недолго: воспаление мозговых оболочек скоро прекратило его страдальческие дни.

ПРИЗРАК, ИЛИ ЗАГАДКА КНЯЗЯ ИНДОСТАНСКОГО

В первом номере популярного журнала «Чудеса и приключения» за 1993 год – на обложке его красовался призыв: «Кто не верит в НЛО – пусть объяснит эту реальную фотографию» – появилась странная публикация. Все было как полагается: завлекательное название «Призраки», кричащая и безвкусная иллюстрация, красная врезка «впервые»... Окончание «Штосса» М. Ю. Лермонтова! Имя автора, правда, ничего не говорило читателю – некий



Александр Соколов. Тайну разъясняло лаконичное редакционное вступление:

– Читателям, которых заинтересует эта публикация, не обязательно разыскивать предыдущий номер нашего журнала. Им доста-

точно в собрании сочинений М. Ю. Лермонтова отыскать неоконченную повесть, начинающуюся словами «У граф. В... был музыкальный вечер» и прерывающуюся на словах «Он решился». Предлагаемое вниманию читателей окончание лермонтовского шедевра принадлежит неизвестному автору Александру Александровичу Соколову, рукопись которого, датированная 1885 годом, была недавно обнаружена в отделе рукописей Института русской литературы в Петербурге литературоведом Ириной Семибратовой.

Под именем А. А. Соколова «Призраки» были напечатаны и в составленном И. В. Семибратовой (1944-1995) – исследовательницей фантастики, активно перевозносившей кондовых «молодогвардейских» авторов – сборнике «Оборотень: Русские фантазмагии» (М., 1994). Как выяснилось, Соколов родился около 1855 г. в семье помещика, был «кандидатом» Московского университета, жил в Веневском уезде Тульской губернии и в 1890-е гг. являлся одним из гласных уездного Земского собрания.

Публикации 1993-94 гг., однако, состоялись далеко не «впервые». Почти за сто лет до этого, в 1897 г., «Призраки» вышли отдельной книжкой в московском издательстве И. Н. Кушнерева – с подзаголовком «Фантастический рассказ» и под псевдонимом «Князь Индостанский».

Произведение – не лишенный интереса и определенных литературных достоинств пример русской мистической фантастики конца XIX века – не переиздавалось и оказалось напрочь забытым широкой публикой, но осталось в научном обиходе. Первым о нем упомянул, похоже, Я. Э. Голосовкер, заметивший в примечании к эссе «Секрет Автора: “Штосс” М. Ю. Лермонтова»:

И что же! Не только поэтесса Ростопчина поверила в ужасную историю, написанную шутником Лермонтовым, поверили и литературоведы, исследователи Лермонтова, поверили «в новый род литературного произведения», т. е. в «ужасную историю», в ее фантастически сверхъестественные элементы, в оживающий волшебный портрет, в привидение. С их легкой руки «Отрывок» попал в один ряд с «Эликсиром Сатаны» и «Зловещим гостем» Гофмана, с «Мельмотом-Скитальцем» Мэтьюрина. А некий князь Индостанский закончил этот «фантастический рассказ», намекая, быть может, своим оккультным псевдонимом (Индия!) на оккультный характер повести Лермонтова. И уже рядом с нею стали устанавливать и историю об оживающих фигурах гобеленов, т. е. «Жофруа Рудель и Мелисандра Три-

полис» Гейне, и «Овальный портрет» Эдгара По, и «Портрет Дориана Грея» Уайльда — целую портретную галерею¹.

О князе Индостанском, бедном безумце, бросившемся в море «во время переезда из Марселя в Аяччио», много позже, в 1980-е годы, вспомнила А. А. Колганова. В статье «Загадка лермонтовского сюжета»² она предположила, что под этим псевдонимом выступал беллетрист, журналист и мелодекламатор Д. А. Богемский (1878-1931); среди псевдонимов Богемского были и такие, как «Максим Сладкий», «Маркиз из Суук-Су» и «Граф Худой». Но с равным успехом «Призраки» могли быть ранней прозаической пробой пера «Графа Амори» (И. П. Рапгофа, 1860-1918?), такого же, по выражению Колгановой, «охотника до игры с чужой славой», в то время журналиста, художественного критика, рецензента и переводчика. К слову, «Граф Амори», прославившийся в 1910-х гг. «продолжениями» чужих романов (в том числе произведений А. И. Куприна, А. А. Вербицкой и М. П. Арцыбашева), уже в 1898 г. публиковал переводные и компилятивные сочинения под звучным псевдонимом «д-р Фогпари (де Куоза)».

Во всяком случае, автор «Призраков» демонстрирует известную начитанность — он свободно оперирует, например, романтически-гностической мифологемой «спасения падшей Софии» (воплощенной в дочери старого картежника) и соотносит свое творение с одноименной повестью И. С. Тургенева (опубл. 1864). Самоубийство князя в «Предисловии издателя» из книги 1897 г., как и мотив проигранной в карты «честь дочери», были подсказаны черновой записью Лермонтова в альбоме 1840-41 годов («Шулер: старик проиграл дочь, чтобы... Доктор: окошко...»); лермонтоведы давно предполагали, что «Штосс» должен был завершиться гибелью бросающегося из окна в приступе безумия Лугина.

Казалось бы, публикация 1993 г. поставила в этом вопросе точку — но нет, загадки только множатся... При первом же взгляде на тексты 1885 и 1897 гг. становится очевидно, что последний подвергся значительной обработке. Так, «обрамляющая новелла» 1885 г. стала «предисловием издателя», «шахматный игрок» (не отсылка ли к Гофману?) превратился фигуру «князя Индостанского» —

¹ *Голосовкер Я.* Избранное: Логика мифа. СПб., 2010. С. 417. Об истории этого эссе см. там же послесловие С. О. Шмидта.

² *Колганова А. А.* Вослед чужому гению. М., 1989. С. 104-114.

«мистика-материалиста», путешественника и адепта спиритизма, как огня сторонящегося женщин.

Приведем здесь полностью «обрамляющую новеллу» 1885 г.:

В один из длинных вечеров прошедшей зимы, когда бледная заря тихо угасала на западе, а на востоке уже всплывала большая, полная луна, между тем как мороз все крепчал и крепчал, — собралось у меня небольшое общество приятелей: один не принадлежащий ни к какой партии писатель, один профессор чистой математики университета, один — учитель русского языка гимназии и еще один молодой человек, который не занимал никакого общественного места и был известен только, как шахматный игрок необычайной силы. Несмотря на разнообразие этих кличек, все гости мои отличались однако общею чертою: это были люди независимого и широкого образа мыслей и в сущности — прекрасные люди. Собрались они у меня совершенно случайно: зашел один, потом другой, потом третий; на столе появился дымящийся самовар; все уютно разместились вокруг него и при мягком свете лампы, снабженной матовым колпаком, принялись попивать чаек, болтая свободно обо всем, что взбредет на ум...

Разговор, однако, поминутно возвращался к литературе — беллетристической и философской. Скоро зашла, между прочим, речь о сосотрудничестве в сочинении и беллетристических произведений, и вот члены нашего общества, за исключением шахматного игрока, с редким единодушием высказывались об этом способе творчества с презрительной насмешкой.

— Писать так, — сказал русский язык, — решаются только люди, которые не способны понять, что художественное произведение есть органическое учение, созданное единым вдохновением единого духа... Эти господа, напротив, убеждены, что можно создать истинно-художественное произведение механическим собиранием подробностей, вроде того, как готовится винегрет или окрошка. И тогда, конечно, будет безразлично, пишет ли произведение один, два или десять человек: лишь бы между ними состоялось грубое соглашение относительно самой фабулы и характеров действующих лиц, причем характеры эти обрисовываются самыми топорными выражениями, вроде следующих: «человек горячий, злой, флегматический, добрый» и т. д. А иногда так и еще лучше: скажут про человека, что он «южанин» и только. Это уже география какая-то...

Все засмеялись.

— Да, это люди именно бездарные, — сказал профессор чистой математики. — Поразительна неспособность их понимать тонкие черты и оттенки. Что-то базарное, фабричное есть в них. Лишь бы подделаться под настоящее художественное произведение, как подделывают машинные кружева под настоящие, да сбывать поскорее свой дрянной товар на толкучем рынке литературы!

— И удивительно, — сказал опять учитель русского языка, — как это публика не замечает того, что произведения этого рода преисполнены противоречий и несообразностей — именно оттого, что они писаны разными лицами! Ведь это так ясно при сколько-нибудь внимательном чтении...

— Ну, при внимательном чтении, — сказал смеясь «независимый писатель», — такие противоречия и несообразности становятся ясными даже и в произведениях, написанных одним и тем же лицом.

Все опять засмеялись и согласились с тем, что это обыкновенно так и бывает.

— И однако, — заговорил вдруг дотоле молчавший шахматный игрок — человек одаренный оригинальным складом ума и живым воображением, — и однако, возможно и истинное творчество в сотрудничестве.

Все с любопытством оглянулись на него; зная его самобытный образ мыслей, все с нетерпением и удовольствием ожидали от него какого-нибудь нового, замечательного парадокса.

— Каким образом? — сказали иные.

— Я того мнения, — ответил шахматный игрок, — что всякое истинно-художественное произведение не есть произвольный вымысел художника, хотя бы и очень разумно, последовательно составленный. Я того мнения, что каждое истинно-художественное произведение есть только снимок с действительной, реальной, самостоятельно вне воображения художника существующей идеи. А если так, то почему бы два различных художника не могли увидеть и описать одну и ту же идею, как два различных зоолога могут изучить и описать одно и то же животное?

Все молчали в раздумии. Я, с своей стороны, размышлял так: этот парадокс — есть ли он самый крайний материализм или самый крайний идеализм? С одной стороны, идея несомненно есть нечто абсолютно духовное, но с другой стороны, она существует, по этому взгляду, независимо, как вещь, но, и потому реальна и мо-

жет быть изучаема, как действительное, например, животное. Конечно: крайние противоположности стоят часто ближе друг к другу, чем мы это думаем обыкновенно — противоположности сходятся. Притом: абсолютная победа идеализма над материализмом не состоит ли именно в полном признании последнего во всем его объеме. т. е. в признании всех его законных требований, причем и обнаружится его ограниченность?..

— Укажите, однако, хотя один пример такого истинного сотрудничества,— сказали иные.

— Таких примеров много,— ответил шахматный игрок, защищая свою мысль — Но по странному совпадению, которого я не могу считать случайным, разговор этот зашел как раз для меня кстати. Дело в том, что я принес с собою написанное мною окончание известного отрывка Лермонтова, — отрывка, начинающегося словами: «У графини В... был музыкальный вечер» — и прерывающегося на словах: «Он решился». Я утверждаю, что я видел — внутренним чувством — ту же действительную идею, на которую смотрел и Лермонтов, сочиняя свой отрывок. Если вы, господа, расположены уделить мне не более получаса вашего внимания, я прочту вам сейчас же свое окончание, а вы потом откровенно скажите мне о нем свое мнение. Вы заметите, конечно, что окончание это писано не Лермонтовым,— как это и естественно. Различие это должно отнести к особенности авторов. Но что и Лермонтов, и я описываем одно и то же, в этом, я уверен, никто не усумнится из вас...

— Ах, пожалуйста! Сделайте одолжение, прочтите. Это чрезвычайно интересно! — раздались голоса.

— В таком случае,— сказал шахматный игрок, обращаясь ко мне, — я попрошу у вас первый том сочинений Лермонтова: необходимо возобновить этот отрывок в вашей памяти.

Я принес книгу; шахматный игрок нашел отрывок, придвинул к себе лампу и начал читать. Прочтя последние слова отрывка: «Он решился» — он вынул из бокового кармана своего пиджака рукопись и продолжал:

<...>

Шахматный игрок свернул рукопись и положил ее обратно в боковой карман.

Все присутствующие молчали; все были под обаянием только что слышанного. Несмотря на необузданную призрачность и как бы безумие рассказа, все чувствовали, что в нем заключается та-

кая правда, которая, раз коснувшись только души, уже никогда не может забыться.

Разговор не клеился. Все чувствовали как бы какую-то эстетическую полноту в душе,— полноту, при которой не хочется говорить. И замечательно, что никто не вспомнил того повода, по которому был прочитан этот рассказ: все думали о самом рассказе.

Скоро все стали прощаться и уходить, как бы желая наедине обдумать слышанное.

В прихожей я подошел к шахматному игроку и спросил его:

— Вы издадите этот рассказ?

— Не имею ни малейшего желания. Вы знаете, что я ничего не печатаю.

— В таком случае, подарите ваш рассказ мне.

— На что он вам нужен?

— Я издам его.

— Пожалуй. Но прошу вас не выставлять под ним моего имени.

И с этими словами шахматный игрок вынул из кармана свою рукопись и передал ее мне...

По желанию автора, она появляется теперь без его имени.

1885 года, 18 октября, с. Ольхов-Колодезь.

Небольшие, но существенные различия, помимо разбивки текста, имеются и в центральной части рассказа, где повествуется о безумной любви Лугина к призрачной женской тени, готовности поставить на кон собственную душу, роковой игре со стариком и окончательном исчезновении призраков. Можно заметить, к примеру, что текст 1897 г. всемерно подчеркивает механистичность, автоматичность призрака-«портрета», лишая его «сатанинских» черт:

В ответ на это восклицание дверь гостиной начала тихо и беззвучно отворяться...

(1885)

Голос его гулко и дико отозвался в гостиной и замер. И вот, дверь гостиной начала вдруг тихо и беззвучно отворяться...

(1897)

И вдруг на одно только короткое мгновение вспыхнула в них какая-то *сатанински-злая решимость*.

(1885)

И вдруг, на одно только короткое мгновение, вспыхнула в них какая-то *страшно-подозрительная злоба*.

(1897)

Лугин смотрел на него в оцепененном изумлении. Но вдруг почувствовал он новый прилив злобной радости.

(1885)

Лугин смотрел на него в оцепененном изумлении *с тем чувством, с каким мы смотрим на новый, непонятный нам физический опыт*.

— *Нельзя ли оставить эти отвратительные механические секреты!* — сказал он потом. — Довольно того, что люди не могут обойтись без них, чтобы жить!

Но вдруг почувствовал он новый прилив злобной радости.

(1897)

При этих словах Лугина в стеклянных глазах старика снова сверкнула вдруг, точно молния, *сознательная, сатанинская злоба*.

(1885)

При этих словах Лугина, в стеклянных глазах старика, снова сверкнула вдруг точно молния, *сознательная, подозрительная злоба*.

(1897)

...призрак вдруг сделал какую-то странную гримасу и *громко два раза щелкнул зубами*.

(1885)

...призрак вдруг сделал какую-то странную гримасу и *оскалил зубы...*

(1897)

А не демон тот, кто из любви к женщинам, из жажды «мгновенного наслаждения, безумного и преступного», отрекается от всего святого, от вечного, от бесконечного, от бессмертного, *от души и Бога?*

(1885)

А не демон тот, кто из любви к женщинам, из жажды «мгновенного наслаждения, безумного и преступного», отрекается от всего святого, от вечного, от бесконечного, от бессмертного?

(1897)

В тексте 1897 г. опущены красноречивые фразы, подчеркивающие саморазрушительную устремленность Лугина к гибели:

Он медленно перевел взгляд свой на рюмку...

Какое-то острое и мучительное наслаждение вошло в его душу. В этой возможности сейчас, сию минуту истребить себя было что-то невыразимо обольстительное для души его.

(1885)

Он медленно перевел взгляд свой на рюмку...

(1897)

Объятия Лугина и девушки-призрака, очевидно, показались в 1897 г. чересчур эротическими:

А она, эта призрачная женщина, смотрела теперь на него страстным, зовущим взглядом. *Ее трепещущие, полуоткрытые уста были, казалось, влажны и просили поцелуя. Невыразимая, страстная, томная нега во всей склоненной и будто изнеможенной фигуре ее звала и обольщала... <...>*

— Целуй, целуй меня! Обнимай меня! — тихо, как дыхание ветра, заговорила вдруг призрачная женщина, *привлекая к себе Лугина и будто вся изнемогая от истомы счастья.*

С воплем блаженства бросился к ней Лугин, обнял и крепко, *почувствовал теплое, осязательное, трепещущее тело ее в своих объятиях, почувствовал вздымающуюся трепетным дыханием грудь ее* и —

(1885)

А она, эта призрачная женщина, смотрела теперь на него страстным, зовущим взглядом. <...>

— Целуй, целуй меня! Обнимай меня! — тихо, как дыхание ветра, заговорила вдруг призрачная женщина.

С воплем блаженства бросился к ней Лугин, обнял ее крепко.

(1897)

Наконец, адский хохот, оглашающий комнату в финале жуткой игры, сменился «хихиканьем», а в тексте вместо необоримой дьявольской силы возник проказливый и туповатый «бесенок»:

Страстный крик отчаянья огласил вдруг комнату: призраки исчезли, и *послышался громкий, сатанинский хохот...*

(1885)

Страшный крик отчаяния огласил комнату: призраки исчезли, и в комнате *послышалось вдруг какое-то странное хихиканье: нельзя было сомневаться, что это смеется низкий и подлый бесенок, способный понимать, но не способный чувствовать ничего великого.*

(1897)

Возникает впечатление, что автор или редактор текста 1897 г. задался целью вытравить из произведения черты романтической «страшной повести», всю «необузданную призрачность и как бы безумие». Эта установка достаточно откровенно разъясняется в «Предисловии издателя»: задача – превратить фантастический текст в психологический портрет современного «мистика» на фоне модных оккультных увлечений.

Когда я прочел все эти повести и рассказы, они показались мне в высшей степени замечательными, если, быть может, и не сами по себе, то, по крайней мере, как «психологические факты» души их автора, который мог бы служить характерным представителем того типа «мистика», для которого «мистицизм» не есть надуманная теория, а единственно возможное настроение души, которым он живет на свой риск и страх, направляясь иногда по совершенно ложным путям.

Печатаю на первый раз только один рассказ из всех полученных мною повестей и рассказов, в надежде со временем издать их все. Считаю это своевременным, ввиду того интереса к «оккультизму», который так неожиданно ожил вновь в нашем образованном обществе за последнее время.

(1897)

Возможно предположить, конечно, что Соколов – ставший трезвомыслящим земским деятелем – спустя 14 лет по написании почему-то решил издать свое произведение, подвергнув его столь радикальной правке. Отказался ли он от оккультно-спиритических исканий юности, подписав им приговор самоубийством «князя Индостанского»?

Возможно и другое: рукопись «Призраков», предназначенную некогда к печати и завалявшуюся по какой-то причине в издательских закромах, нашел, отредактировал и опубликовал тот или иной беллетрист.

И третье – перечитаем внимательно «Предисловие издателя» 1897 г.:

Когда прошло первое потрясение, которое я испытал по получении страшного известия, я вспомнил последний, проведенный вместе с ним вечер, вспомнил прочитанный им рассказ, и мне стало невыразимо жаль этого рассказа, так как я не надеялся спасти его от уничтожения. Поэтому, нет ничего удивительного в том, что я обрадовался, как ребенок игрушке, когда, почти год спустя, родственники князя Индостанского, во исполнение его воли, выраженной им в найденной после его смерти записке, переслали ко мне все его рукописи, в которых, кроме рассказа, который мне так понравился, я нашел и еще несколько рассказов и повестей, которые все были проникнуты одним и тем же, если позволено так выразиться, мистически-материалистическим мирозерцанием.

Быть может, за этим признанием «издателя» стоит нечто большее, чем литературная выдумка? Кто знает, не является ли вся загадочная история с «Призраками» частью задуманной, но не осуществившейся в полной мере мистификации? Правда, вероятно, так и останется нам неведома.

Примечания

«Штосс» М. Ю. Лермонтова публикуется по изд.: Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений в пяти томах. Том V: Проза и письма (М.-Л.: Academia, 1937).

«Призраки» публикуются по изданию: Князь Индостанский. Призраки: Фантастический рассказ (М.: Типо-лит. И. Н. Кушнерева и К^о, 1897, с подзаг.: «Окончание повести М. Ю. Лермонтова, начинающейся словами: «У графини В... был музыкальный вечер» – и прерывающейся на словах: “Он решился”»). В тексте исправлены некоторые очевидные опечатки.

На фронтисписе – иллюстрация к «Штоссу» В. Бехтеева. В оформлении обложки использована иллюстрация А. Бенуа к «Пиковой даме» А. Пушкина.

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.